

*Денизе Жельфюс
за дружбу*

* * *

С тех пор как я больше почти не выхожу наружу, я провожу много времени в одном из кресел, перечитывая книги. Только совсем недавно я заинтересовалась предисловиями. Авторы охотно пишут в них о самих себе, объясняют, по каким причинам сочинили предлагаемый труд. Я удивлена: разве не более очевидно в том мире, чем в этом, в котором я жила, передавать приобретенные знания? Они, кажется, зачастую чувствуют необходимость уточнить, что в их затее нет нескромности, что их попросили написать и они колебались, прежде чем согласиться. Как интересно! Это наводит на мысль, что люди не жаждали просвещаться и надо было оправдываться за то, что хочешь передать другим свои знания. Или же они рассказывают, почему сочли нужным опубликовать новый перевод Шекспира, ибо предыдущие, при всех их достоинствах, грешили такими-то и такими-то несовершенствами. Но зачем переводить, когда, наверно, так просто выучить разные языки и читать какие угодно книги без посредников? Такие вещи заставляют меня ломать голову. Ясно, что я полная невежда: судя по всему, я знаю еще меньше, чем думала. Авторы с благодарно-

стью говорят о тех, кто их выучил, открыл им ту или иную область знания, но я ничего в этом не понимаю и поэтому читаю довольно равнодушно. Но вчера мои глаза вдруг наполнились слезами, я вспомнила Тею, и огромная волна горя захлестнула меня. Я снова видела, как она сидит на краю матраса, сдвинув колени, и терпеливо шьет своей скверной ниткой из сплетенных волос, которая все время рвалась, а то останавливается, чтобы посмотреть на меня, дивясь моему невежеству, спеша обучить меня всему, что знала, и сетуя, что это так мало, и меня как будто вспороли, и я разрыдалась. Я никогда не плакала. У меня так же ужасно болела душа, как болит живот от рака, и я — я ведь никогда больше не разговариваю, потому что все равно никто меня не услышит, — вдруг стала звать ее, повторяя: Тея! Тея! — не в силах стерпеть, что ее больше нет, что она позволила смерти завладеть собою, вырвать ее из моих неумелых рук, я корила себя, что не удержала ее, что поняла, как ей невыносимо, я думала, что бросила ее, потому что я была вся как деревянная, и быть мне такой всю мою жизнь, быть такой, умирая, я корила себя, что не могла горячо обнять ее, что мое глупое сердце застыло и я даже не поняла, что отчаялась. Никогда еще мне так не переворачивало душу, и я могла бы поклясться, что такого не может со мной случиться. Прежде я видела, как женщины дрожали, плакали, кричали, я оставалась чуждой их драме, свидетельницей движений, казавшихся мне невнятными, я молчала, даже когда делала все, о чем они меня просили, чтобы им помочь. Конечно, мы все были пленницами одной и той же трагедии, такой огромной, такой всеобъемлющей, что я не вос-

принимала ничего, что не имело к ней отношения, но в конце концов начала думать, что я иная. И теперь, содрогаясь от рыданий, я была принуждена, но поздно, слишком поздно, признать, что я тоже любила, что я способна страдать и что вообще я человек.

Мне казалось, что эта боль никогда не утихнет, что она овладела мною раз и навсегда, что она никогда не даст мне посвятить себя чему бы то ни было, кроме нее, и я была готова на это. Я думаю, именно это имеют в виду, когда говорят, что мучает совесть. Я не смогу больше вставать, думать, даже готовить себе пищу и буду медленно чахнуть, мне доставляло какое-то мрачное удовольствие представлять себе, как я всецело предаюсь отчаянию, когда вернулась физическая боль, такая резкая и острая, что отвлекла меня от боли душевной. И вот мне — а ведь я, понятное дело, никогда не веселюсь — вдруг показалось таким смешным это чередование, что, еще сгибаясь пополам от боли, я засмеялась.

Когда боль немного утихла, я задумалась, смеялась ли я когда-нибудь. Женщины часто смеялись, и мне показалось, что я иногда присоединялась к ним, но я не была уверена. Тут до меня дошло, что я никогда не вспоминаю о прошлом, живу только настоящим и мало-помалу забываю свою историю. Сначала я пожалала плечами, подумав, мол, невелика потеря, ведь со мной никогда ничего не происходило, но вскоре эта мысль возмутила меня. В конце концов, если я человек, моя история не менее важна, чем история короля Лира или принца Гамлета, которые этот Вильям Шекспир дал себе труд изложить во всех подробностях. Решение родилось во мне почти бессозна-

тельно: я поступлю, как он. Со временем я научилась бегло читать, писать мне гораздо труднее, но я никогда не пасовала перед трудностями. У меня есть бумага, карандаши, есть время, хоть и, наверно, немного, и с тех пор как я не выхожу больше в экспедиции, мне совсем нечего делать: я решила начать немедленно. Я пошла в кладовую, достала мясо на обед и положила его размораживаться: так, когда придет голод, пища быстро будет готова. Потом я села за большой стол и принялась за дело.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мой рассказ закончен. Все в порядке вокруг меня, и я выполнила последнюю задачу, которую себе поставила. Мне понадобился всего месяц, который был, наверно, самым счастливым в моей жизни. Я этого не понимаю: в конце концов, помнила я лишь эту странную жизнь, которая дала мне мало счастья. Или сама работа памяти приносит удовлетворение, и то, о чем вспоминаешь, не так важно, как сам факт воспоминания? Вот и еще один вопрос, который останется без ответа: мне кажется, только это у меня и есть.

Самое давнее, что я помню, — я в каземате. Это ли называют воспоминаниями? В те редкие разы, когда женщины соглашались рассказать мне что-нибудь из своих историй, в них были события, происшествия, разные люди; а что называют воспоминаниями я? Только то чувство, что я живу в одном и том же месте, с одними и теми же людьми и делаю одни и те же вещи: ем, отправляю естественные надобности, сплю. Очень долго дни текли один за другим совершенно одинаково, а потом я начала думать, и все изменилось. Рань-

ше не происходило ничего, кроме этого повторения идентичных действий, и время казалось мне неподвижным, хоть я и смутно сознавала, что расту, а оно течет. Моя память начинается с моим гневом.

Я, разумеется, не могу сказать, сколько мне было лет. Остальные давно были взрослыми, когда я, очевидно, достигла половой зрелости. У меня были лишь ее первые признаки: под мышками и на лобке выросли волосы, груди слегка набухли, а потом все остановилось. У меня так и не было месячных. Женщины говорили, что мне повезло, что не будет идти кровь и не надо бояться испачкать матрас, я буду избавлена от стирки тряпок, которые им приходилось держать между ног, изо всех сил сжимая ляжки, потому что нечем их привязать, и не буду терпеть боли в животе, такие частые у молодых девушек. Но я им не верила: у них почти у всех были менструации, и можно ли считать себя в выигрыше, не имея того, что есть у других? Мне казалось, что они меня дурачат.

В то время, когда я почти не задавалась вопросами, мне вдруг пришло в голову спросить себя, зачем нужны месячные. Может быть, я была от природы молчалива, во всяком случае, мои редкие вопросы меня не обнадеживали. Чаще всего женщины вздыхали, отводили глаза и говорили: «Зачем тебе знать?», отчего мне казалось, что я беспокою их или расстраиваю. Я не знала и не настаивала. Только много позже Тея объяснила мне, что такое месячные. Она сказала, что женщины были в большинстве своем необразованные, работницы, машинистки, продавщицы — все эти слова в моем сознании никогда не имели точно-го смысла, — и что знают они ненамного больше